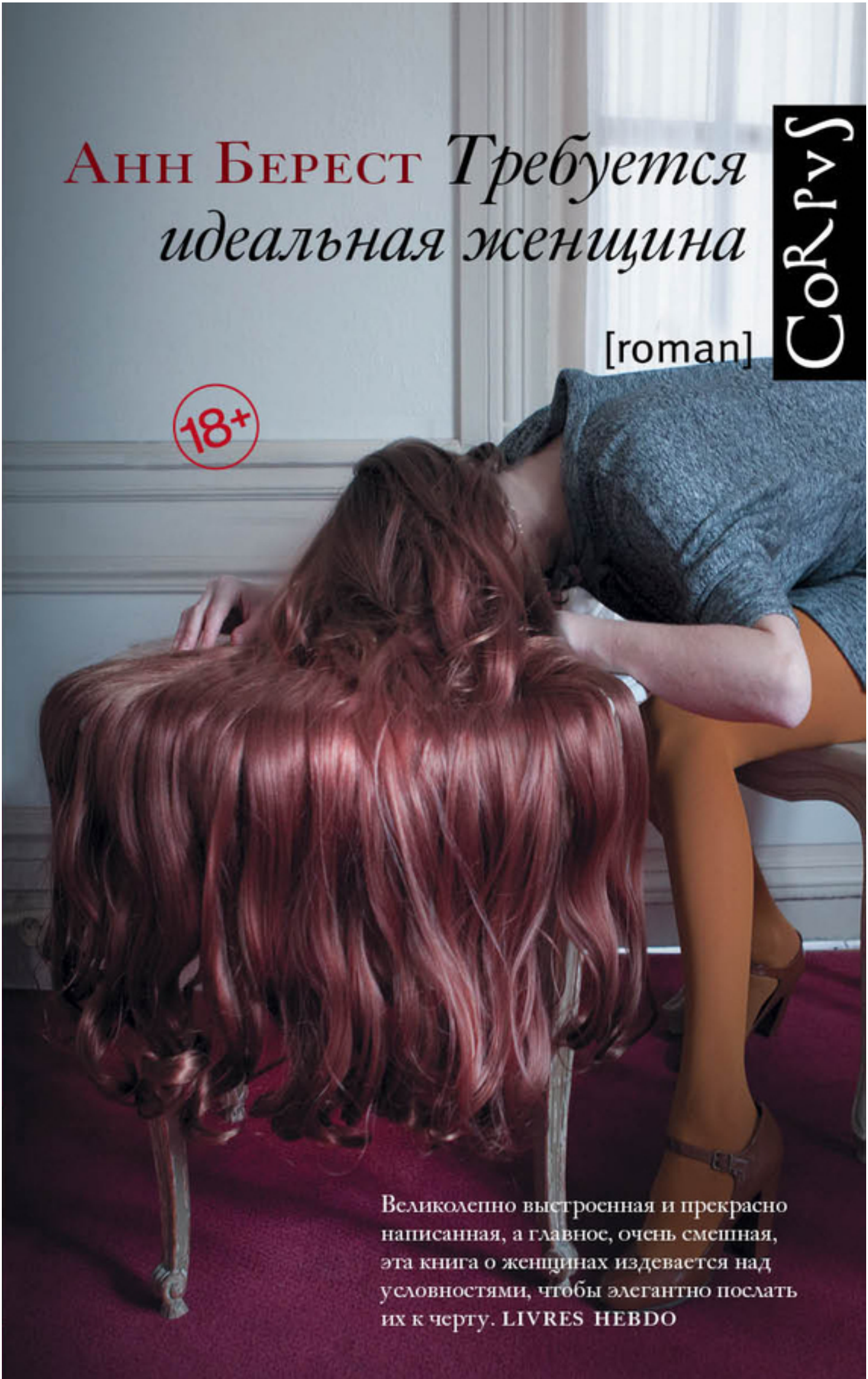


Анн Берест *Требуется идеальная женщина*

[roman]

CORPUS

18+

Великолепно выстроенная и прекрасно написанная, а главное, очень смешная, эта книга о женщинах издевается над условностями, чтобы элегантно послать их к черту. LIVRES HEBDO

Счастливые люди

Анна Берест

Требуется идеальная женщина

«Corpus (АСТ)»
2015

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Берест А.

Требуется идеальная женщина / А. Берест — «Corpus (АСТ)», 2015 — (Счастливые люди)

ISBN 978-5-17-101630-2

Известная французская писательница и журналистка Анн Берест — автор четырех романов и написанной в соавторстве со своей сестрой Клер Берест биографической книги «Габриэль», удостоенной в 2017 году премии «Великие судьбы». «Требуется идеальная женщина» — ироничная притча о поисках женского совершенства. Для участия в престижном фотоконкурсе Эмильена планирует создать серию портретов идеальных женщин, достигших совершенства во всем. К такому замыслу ее подтолкнул нервный срыв лучшей подруги: неутомимая Жюли, глава крупного агентства, безупречная мать и жена, неожиданно очутилась в психиатрической клинике с синдромом эмоционального выгорания. В поисках моделей для съемки Эмильена знакомится с самыми разными женщинами — от знаменитой проститутки, фигурантки скандала с футболистами сборной Франции, до влюбленной вдовы деревенского пастора — и в калейдоскопе их историй, чередуя вымышленные сюжеты с подлинными, ищет ответа на вопрос, что же такое современная женщина.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-101630-2

© Берест А., 2015
© Corpus (АСТ), 2015

Содержание

Жюли 7
Мари 15
Ализе 22
Франческа 26
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Анн Берест
Требуется идеальная женщина

Тессе посвящается

Похоже, здесь произошло что-то странное.
Педро Альмодовар. Женщины на грани нервного срыва

Anne Berest

Recherche femme parfaite

Перевод с французского
Елены Головиной

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Фотография на обложке:
© Maia Flore/Agence VU/East News

© Editions Grasset & Fasquelle, 2015
© Е. Головина, перевод на русский язык, 2018
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
© ООО “Издательство АСТ”, 2018
Издательство CORPUS ®

Жюли

Жюли Маргани не понимала, почему она не беременеет. Она рассчитала дату зачатия с тем, чтобы родить в конце летних каникул и выйти на работу в январе, когда компании будет трудно без нее обойтись. Но тело бастовало: месячные с завидной регулярностью приходили точно в срок. Жюли не привыкла, чтобы мировой порядок шел вразрез с ее пожеланиями, и это привело к постепенному нарастанию тревожных симптомов: то в метро на нее вдруг накатывала паническая атака, то ее одолевал страх перед тем или иным продуктом. Но больше всего она боялась хаоса.

Впервые увидев Жюли у себя на лестничной площадке, я мгновенно узнала в ее нежном лице черты девочки, какой она когда-то была. Моя новая соседка принадлежала к числу девочек примерных – из тех, что никогда не забывают взять в бассейн шапочку, не теряют резинки для волос и не таскают у папы станок, чтобы побрить себе ноги. Я всегда с удовольствием общалась с этими изящными созданиями, существующими в мире, скроенном под них. Разумеется, я никогда не пыталась стать похожей на этих идеальных девочек, что было заранее обречено на провал, зато набивалась к ним в подруги и пользовалась их любовью и покровительством. Я быстро вошла во вкус своей роли фаворитки: меня приглашали на дни рождения, где мне перепадал то лишний набор почтовой бумаги, то ластик необычной формы, то пара голографических наклеек. На перемене они давали мне поиграть со своими куклами пони, от которых вкусно пахло клубникой. Особенно мне нравилось оставаться у кого-нибудь из них ночевать: в отглаженных пижамах мы укладывались валетом в мягкую постель, и они делились со мной своими секретами, что наполняло меня чувством причастности к космогонии их чудесного детства. Чем теснее я с ними общалась, тем крепче их любила, снова и снова убеждаясь в том, что примерные девочки – обворожительные создания, способные на верную дружбу. Годы спустя я продолжала восхищаться женщинами, похожими на мою соседку Жюли, которая в свои сорок лет возглавляла агентство, специализирующееся на управлении лояльностью клиентов по договору со всемирно известным холдингом, и была способна, проведя днем серьезное совещание, вечером переодеться в юбку-карандаш, отправиться в оперу слушать “Мадам Баттерфляй” и, держа за руку мужа, заливаться искренними слезами. Мне нравилось наблюдать за ней в будничной обстановке – если честно, я ею восторгалась. Я терпеть не могу брать на себя ответственность, ненавижу готовить, не умею выступать на публике, а на первом свидании напрочь забываю про самолюбие. Нечего и говорить, что наша дружба отчасти объяснялась нашими различиями. Жюли позволяла мне прикоснуться к своей безупречно организованной жизни – взамен я ее смешила. Как ни банально это звучит, но все такого рода антагонизмы действительно уходят корнями в детство. Отец и мать Жюли были логопедами и держали в Париже довольно известный частный кабинет. Мои родители тоже работали вместе – они были комиками. К сожалению, известность к ним так и не пришла.

Мои мать с отцом на протяжении почти двадцати лет – с 1981-го по 1998-й – выступали дуэтом и объездили почти всю Францию. Иметь родителей-клоунов не очень-то весело, особенно если ты единственный ребенок в семье. Жюли в этом отношении повезло – она росла с тремя братьями, что дает женщине огромное преимущество. Мужской член я впервые увидела в тот день, когда лишилась девственности; девушки, которым выпала удача с детства тесно общаться с противоположным полом, оказываются в выигрышном положении – их нельзя застать врасплох. Зато я наизусть знала карту Франции со всеми ее департаментами, а главное – с крошечными театриками, кабаре, муниципальными клубами, кабачками и бистро.

Жюли все свое детство спала в одной и той же комнате и в одной и той же кровати на третьем этаже солидного буржуазного дома. Вечером в воскресенье семья, согласно незыблемому правилу, ужинала на кухне холодными закусками – просто потому, что у них было так принято. Меня же, напротив, все мое детство без конца, как чемодан, перетаскивали с места на место, из одной прокуренной ночлежки в другую, такую же случайную. Когда я говорю “как чемодан” – это не фигура речи. Дело в том, что у моих родителей был скетч под названием “Чемодан”.

Мать выбегала на сцену с огромным чемоданом в руках, якобы опаздывая на поезд. Из-за противоположной кулисы неторопливой походкой выплывал отец. Не спеша, посвистывая, руки в брюки. Встретившись, они начинали шумно ссориться. В это время из чемодана высовывались две маленькие ножки, и он потихоньку отступал подальше, явно не желая присутствовать при скандале. Обнаружив, что чемодана нет, родители делали вывод, что его украли, и принимались еще громче орать друг на друга. От этих воплей чемодан поднимался на ноги, как в мультфильме, и улепетывал за кулисы. Зрители покатывались со смеху. Они вскакивали со стульев и громко аплодировали. У меня колотилось сердце – вы уже поняли, что в чемодане сидела я, маленькая Эмильена. С полутора до четырех лет я изображала в родительском номере живой чемодан. Но затем настал неизбежный день, когда мои руки и ноги перестали туда помещаться. За одно лето я поняла, какое значение имеет для человека его задница. Родители решили завести еще одного ребенка, но у них, к сожалению, ничего не вышло. Гораздо позже, когда я сама стала мамой, они подбивали меня дать им напрокат моего сына и в мыслях уже примеряли свои старые костюмы времен шумного успеха. Но я была непреклонна: мой ребенок никогда не будет сценическим реквизитом. Следует добавить, что от тех лет эфемерной славы я сохранила легкую клаустрофобию и невероятную гибкость. Жюли тоже была довольно гибкой, но в основном благодаря занятиям классическим танцем: она тренировала свое стройное, как лиана, тело возле балетного станка. Я так и вижу ее в розовой пачке, с аккуратно заколотыми волосами, выступающей перед нацеленными на нее объективами ручных видеокамер. Пока Жюли шила себе костюм к празднику в конце учебного года, я разъезжала по улицам, сидя у отца на плечах, и раздавала рекламные листовки с приглашением на внеконкурсные спектакли Авиньонского фестиваля.

Миновало двадцать пять лет, и мы стали соседками.

Прошло еще какое-то время, и счастливое событие случилось-таки – Жюли забеременела. Беременность у нее протекала тоже образцово. Одной рукой она втирала в грудь крем для упругости, другой листала умные книжки о подготовке к родам; за несколько месяцев она приобрела знания, достойные патронажной сестры, и отправилась в роддом профессиональной будущей матерью, прихватив чемодан с цветочным рисунком в тон своему светло-розовому лаку для ногтей. В следующую субботу она вернулась с младенцем в плетеной колыбельке, свежая и улыбающаяся, как будто ходила на рынок и купила в лавке самый лучший кусок парного мяса. Жюли начала работать, не дожидаясь окончания декретного отпуска, и возобновила интимные отношения с мужем, как только в ускоренном темпе прошла курс восстановительной терапии.

Я восхищалась Жюли. Кроме шуток. Я поражалась тому, сколько всего она успевает сделать за один день. При этом остается в прекрасном настроении, как будто все это ей ничего не стоит. Никогда не жалуется. Только улыбается.

Я знаю, о чем говорю. Я – фотограф, и моя профессия заключается в том, чтобы уговорить людей улыбнуться, а это совсем не так просто. На протяжении многих лет я снимала детей – от ясельного возраста до выпускного класса школы, в основном работая в департаментах Марна и Сена-и-Марна, в так называемых *приоритетных зонах образования*. Проблема со школьной съемкой в том, что надо уметь произвести хорошее впечатление на директора, не отказываться ни от одного мероприятия и посылать им поздравительные открытки

– иначе на следующий год не позовут. Я бы, воспользовавшись выражением Жюли, сказала, что “управление отношениями с клиентами” – не мой конек, поэтому она связала меня с посредническим агентством. Агентство предлагает мою кандидатуру компаниям, желающим организовать фотосъемку сотрудников на рабочих местах для всяких там семинаров, коктейлей, благотворительных вечеров или спортивных состязаний. Затем оно печатает портреты служащих, озаренных счастливой улыбкой, – еще бы, им повезло работать в такой прекрасной компании! – на кружках, майках и магнитах, которые потом будут собирать пыль на дверце холодильника. Сегодня я в основном работаю через них, благодаря чему освободилась от бумажной волокиты, а главное – избавилась от свадебной съемки, хотя дело это выгодное, может быть самое выгодное в нашем ремесле. Но оно же – источник неисчислимых проблем. Мне еще ни разу не встречались новобрачные, которым понравилась бы их свадебная съемка, – они всегда недовольны. Мечты о сказочных воспоминаниях на всю жизнь разбиваются о суровую действительность реальной картинки, запечатлевшей убожество украшенного зала или лужайки и накрытых для гостей столов. Женщины обнаруживают, что в своих пышных белых платьях похожи на посыпанную сахарной пудрой ромовую бабу, а мужчины – что в розовом костюме цвета пупса выглядят попросту нелепо. Но я-то тут при чем? Они долго убеждают тебя, что это ты во всем виновата, а потом еще пытаются оспорить сумму счета, потому что, видите ли, ты забыла сфотографировать семью австралийских родственников, и требуют уничтожить негатив снимка, на котором дедушка лапает молоденьких девчонок. Но даже не это главное. На свадьбе трудно отказаться от бокала-другого шампанского, в результате чего наутро я частенько просыпалась в постели одного из гостей. Между тем профессия свадебного фотографа требует определенной репутации, которая складывается на основе устных отзывов, и здесь я была явно не на высоте.

Это то, что касается способов заработать на жизнь. Но я все-таки стараюсь заниматься и творчеством – разумеется, под другим именем. На моей страничке в Википедии написано:

> Эмильена Крамо, известная также под псевдонимом Эмильена Вальс, родилась в Лиможе 14 сентября 1984 года. Французский фотограф и художник.

Псевдоним Вальс я выбрала потому, что мне нравятся имена, образованные от глаголов. Я очень рано поняла, насколько важна для человека фамилия. Это было в начале девяностых, я тогда училась в одном классе с девочкой, которую звали Кароль Беги. Мне было семь лет, и родители на некоторое время осели в Бур-ла-Рен, южном пригороде Парижа, решив “попытать счастья в столице”; раз в неделю они выступали в кабаре “Дон Камило”, расположенном на улице Сен-Пер, – если мне не изменяет память, по вторникам.

Они записали меня в начальную школу имени Олимпии де Гуж[1], в двух шагах от станции регионального экспресса линии *B*. Для меня это стало потрясением – до сих пор родители учили меня сами, и не сказать, чтобы с особым рвением. Ну а я мечтала о ранце, новеньком пенале и тетрадках на пружинке с разноцветными закладками. Я и сейчас помню стук отодвигаемых от парт стульев, переливы звонка, перешептывания учеников и скрип чернильного пера по бумаге. Посреди этого гвалта я была самой счастливой в школе девочкой.

Кароль Беги была лучшей ученицей в классе. Ее красота вызывала во мне чувство близкое к влюбленности. Когда во время переклички ее вызывали, мне в ее имени слышался императив, как будто учительница призывала: “Беги, Кароль, беги!” Это было не просто имя – в нем ощущалась скорость, свист ветра и головокружение от полета к небесам. Мы, все остальные, обладатели бессмысленных и неинтересных фамилий, воспринимали себя на ее фоне несчастной серятиной. В самом деле, к каким необыкновенным свершениям может

[1] *Олимпия де Гуж* – французская писательница, журналистка, политический деятель, автор “Декларации прав женщины и гражданки” (1791). *(Здесь и далее – прим. перев.)*

быть готов человек, если его зовут Эмильена Крамо или, скажем, Дмитрий Леру[2], – ну разве что рискнет перекрасить волосы в рыжий цвет. И потом, как бы глупо это ни звучало, Кароль Беги и правда очень быстро бегала, словно сама фамилия заставляла ее всегда быть впереди всех. Поэтому, выбирая псевдоним, я взяла за основу глагол “вальсировать”, надеясь, что он, подобно какой-нибудь близкой планете, повлияет на орбиту моей профессиональной карьеры. В двадцать лет мне хотелось, чтобы каждый мой день проходил в причудливом ритме танца и моя жизнь прокладывала себе свободную траекторию посреди тягостных обязанностей этого мира.

Разумеется, ничего из этого пока не осуществилось. Я выражаюсь осторожно: “пока”, потому что не стану утверждать, что всю свою долгую жизнь буду двигаться строго параллельно успеху и мы никогда не пересечемся – ведь даже прямые линии сходятся у горизонта. Но вопреки тому, что пишет Википедия, я никому не известна; готова спорить, что вы никогда обо мне не слышали. Вместе с тем я не сомневаюсь, что некоторые из моих работ меня переживут – возможно, меня ждет посмертная слава, – но пока я могу с гордостью и смирением заявить, что считаю себя мусорным мешком.

Выражение “мусорный мешок” пришло мне в голову после просмотра фильма “Ход вещей”, который сняли в 1987 году два швейцарца – Питер Фишли и Давид Вайс. В этом экспериментальном фильме самые обыкновенные предметы падают один за другим по принципу домино – чем-то в этом роде развлекается молодежь из восточных стран; они на протяжении нескольких месяцев выстраивают из косточек домино многокилометровые цепочки, стремясь побить мировой рекорд. У Фишли и Вайса под действием огня, воды или закона всемирного тяготения падают не доминошки, а всякие автомобильные запчасти и инструменты.

Импульс всей цепочке задает мусорный мешок, толкающий автомобильную шину.

Мусорный мешок ударяется о неподвижно стоящую покрышку, к которой скотчем прикреплена бутылка воды. От удара покрышка сдвигается с места, вода выливается из бутылки, попадает в пластиковый стаканчик, прилепленный ко второй покрышке, та начинает катиться, сперва медленно, потом все быстрее, на ходу из ее собственной бутылки тоже льется вода – в еще один пластиковый стаканчик, стоящий уже на третьей по счету черной резиновой покрышке; она меньше двух первых и катится быстрее, чтобы врезаться в четвертую, огромную, которая благодаря своей массе закатывается на деревянную лесенку и не без труда перескакивает с перекладины на перекладину; в тот самый миг, когда она почти останавливается, на ее пути встает пятая покрышка – в результате столкновения четвертая ускоряется и преодолевает оставшиеся перекладины, пока не налетит на шестую, стоящую на второй лесенке; шестая покрышка – тоже не без труда – добирается до конца лесенки, где утыкается в дощечку, вернее, в стоящий на ней картонный цилиндр диаметром примерно десять сантиметров; этот цилиндрик – легкий, светлый и на фоне покрышек почти невесомый – приходит в движение, скатывается с дощечки и падает в пустоту, но в падении задевает деревянную планку; та начинает раскачиваться справа налево, касается двух других деревянных планок, и так далее.

Я описала первую минуту фильма, а всего он длится полчаса.

Когда я смотрела его в первый раз, у меня перехватывало дух. Я испугалась *по-настоящему*. Значит, достаточно, чтобы крохотный цилиндрик упал на пару миллиметров правее и не задел стеклянную пластинку – и все движение остановится? Мои нервы были натянуты до предела, все мышцы напряжены; мне казалось, если я хоть на секунду отвлекусь от при-

[2] От фр. *leroux* – рыжий.

стального наблюдения за тем, что происходит на экране, вся конструкция перестанет работать; я точно так же задерживаю дыхание в театре, если актриса вдруг умолкает посреди реплики, словно забыла текст роли. Фильм “Ход вещей” лучше всех на свете книг, фильмов и философских сочинений выражает некую теорию существования, во всяком случае моего собственного; когда я сравниваю себя с мусорным мешком, я имею в виду следующее: порой самое пустяковое поползновение может стать причиной большого потрясения. Из череды внешне случайных событий складывается судьба, и самое трудное здесь – дать им первоначальный толчок. Именно так я сделала свою лучшую фотографию, которой горжусь больше всего. В тот день я попросила Жюли позировать мне перед стенным шкафом в спальне. Мне хотелось, чтобы фоном служили аккуратные стопки одежды на полках, сложенные тщательно, как в магазине, и рассортированные по цвету. Жюли стояла перед ними с младенцем на руках. Ребенок открывал ротик и тянулся к ее груди, выглядывавшей из безупречно белой блузки. Такой мне виделась Жюли – настоящей современной мадонной. Но пока я наводила на резкость и искала кадр, из груди Жюли брызнула струйка молока, и на отглаженной блузке расплылось небольшое сероватое пятнышко. Заметив это, Жюли вытаращила глаза, скривилась и отстранила от себя малыша. В результате получилась удивительная фотография, на которой мать смотрит на ребенка с недоумением и испугом, и непонятно, что она сделает в следующую минуту: закричит, бросит его или рассмеется. Вот это и есть моя работа. Я не принадлежу к числу фотографов, которые пытаются выстраивать новые образы. Я не стремлюсь поразить зрителя или внушить ему сильные эмоции. Я также не отношу себя к мастерам документалистики и не претендую на создание объективных свидетельств нынешнего состояния мира. Я хочу уловить краткий миг ожидания между тем, чего уже нет, и тем, чего еще нет, – запечатлеть неопределенность.

В тот памятный день, как только Жюли переоделась, мы пошли на кухню. Пока она вручную, как в старину, разминала овощи в пюре, я рассказывала о том, что когда моему сыну Сильвену было столько, сколько сейчас ее малышу, он питался исключительно покупным карамельным фланом, наотрез отказываясь от любой другой еды. Я поняла, что хочу пить. Жюли была поглощена приготовлением пюре. Я открыла холодильник – в нем, как всегда, приятно пахло лимоном и чистотой. Не знаю почему, возможно, из-за эпизода с блузкой, но мне вдруг захотелось молока. Или меня привлекла белая стеклянная бутылка? Я схватила ее и поднесла ко рту. “Нет!” – крикнула мне Жюли, но я уже залпом выпила полбутылки.

– Это *мое* молоко, – огорченно сказала она. И, чтобы добить меня, добавила: – Я сдаю его в роддом, для мам, которым не хватает своего.

Меня вывернуло наизнанку, прямо на дверцу холодильника, под испуганным взглядом младенца, который немедленно последовал моему примеру. Все это я рассказываю с единственной целью – показать, что в моем восприятии Жюли была образцом счастливой матери, вроде символического рога изобилия, человеком, которому каждая из нас охотно доверила бы свое дитя, не сомневаясь, что его прекрасно воспитают; ее лик был вполне достоин того, чтобы его выгравировали на медали с надписью “От благодарного Отечества”.

Но на следующий день, поздно вечером, Жюли позвонила ко мне в дверь, с ребенком на руках, и спросила, нельзя ли оставить его у меня на ночь. “Он не просыпается, потому что ему нездоровится”, – с горловым спазмом произнесла она. На ней была безразмерная грязная майка. Она пробормотала еще что-то нечленораздельное, скользя вокруг взглядом, напомнившим мне колыхание водорослей на берегу лагуны. Я привыкла, что время от времени она просила меня побыть часок с ее сыном, но чтобы заявиться ко мне чуть ли не среди ночи, да еще без предупреждения – такого не было никогда. Вручив мне сверток, она развернулась и пошла к своей двери; я заметила, что она без трусов. Это был тревожный знак. Последней, кто на моей памяти разгуливал с голой задницей, была моя прабабка, у которой начинался Альцгеймер. Спустя несколько минут ко мне зашел муж Жюли; он при-

нес пеленки и подтвердил, что у них проблемы. Жена, смущенно пояснил он, неважно себя чувствует, ей необходимо выспаться, поэтому он, Тьерри, сейчас отвезет ее к родителям, а ребенка заберет как только сможет. Но назавтра я увиделась со своей подругой в психиатрической клинике Святой Анны. Семейный врач поставил ей диагноз “острое нервное истощение” и потребовал госпитализации.

– Это болезнь высокообразованных и профессионально состоявшихся женщин, – сказал он. – Они стараются и в семейной жизни воспроизвести модель совершенства, к которой привыкли на работе.

Эти женщины, объяснил он, часто являются жертвами скрытой психической травмы, а свое отчаяние преобразуют в жизненную энергию. Они преисполнены энтузиазма, чем поражают окружающих, они высоко несут знамя идеального материнства, чувствуя себя олицетворением всемогущей женственности. Но потом у них кончаются силы. И они попросту сдуваются.

И правда, Жюли больше ничего не могла делать. Не могла говорить. Не желала вставать с постели. Отказывалась пошевелиться. Она погасла. Психиатр прописал ей несколько недель полного покоя, вдали от ребенка и от всего, что так или иначе связано с миром младенчества – этим беспокойным миром, отныне ставшим для нее источником кошмара. В тот день, навещая ее в больнице, я вдруг осознала, что в последние годы у нас с Жюли установились очень близкие доверительные отношения; она занимала в моей жизни гораздо больше места, чем я сама думала. Ее спокойное присутствие в квартире напротив, ее всегда ровное настроение, аромат ее духов с запахом розы на лестничной площадке – все это незаметно вплелось в мое существование как его необходимый элемент.

Вход в клинику Святой Анны представляет собой монументальный подъезд с синей дверью под треугольным фронтоном. Попадая внутрь, ты не можешь избавиться от смутного ощущения, что эта дверь, возможно, закрывается за тобой навсегда. Я не сразу нашла палату Жюли. Подруга ждала меня – ее опухшее лицо блестело от слез. Она без конца плакала и говорила, что проклинает себя за то, что дала слабину и уже никогда не станет такой, как остальные женщины.

– Какие еще остальные женщины? – спросила я.

– Все остальные! – воскликнула она, обсыпав меня вылетевшими изо рта крошками печенья.

Тут Жюли внезапно перешла на шепот, словно нам с ней что-то угрожало:

– От нас требуют совершенства. Сдохни, но будь лучше всех! Мы должны каждый день творить чудеса во *всех* сферах жизни!

– Да?.. – удивленно протянула я. Раньше я ни разу не видела, чтобы Жюли так злилась.

– Ты что, не понимаешь? Армия женщин, многофункциональных, как швейцарский нож, встает по стойке смирно и дружными шеренгами шагает вперед, боясь одного – как бы не вылететь из стройных рядов молодости, успеха и красоты. – Жюли больше не шептала, она говорила все быстрее, и остановить ее не было никакой возможности. – Наши матери верили, что совершили революцию. Но на самом деле они, как крысолов, заманили нас в пропасть. Потому что теперь мы не только должны быть полным совершенством всегда и во всем – в работе, в семье, в постели. Мы не только должны обладать всеми талантами – мы должны обладать ими вечно! В наши дни женщина двадцати пяти лет отличается от женщины шестидесяти лет не фигурой, не манерой одеваться, не вкусами, а покупательной способностью, то есть тем, сколько она может заплатить за дневной крем. Тебе-то на все плевать, – добавила Жюли, – ты даже кондиционером для волос не пользуешься.

– Не вижу связи, – немного обиженно сказала я.

– Связь в том, что ты считаешь себя свободной женщиной. Мало того, ты считаешь, что никогда в истории человечества женщина не пользовалась такой свободой, какой пользуешься ты. Но попробуй посмотреть вокруг!

– На что? – Я машинально взглянула направо, а потом налево, слегка сбитая с толку, – наш разговор приобретал какой-то странный оборот.

– На положение женщины! Мы думаем, что достигли пика свободы, но на самом деле двадцать первый век не принес нам ничего, кроме окончательного закабаления! Мы – камикадзе. И гибнем одна за другой.

Обессиленная Жюли упала на подушку и сказала, что хочет спать. Закрывая за собой дверь палаты, я подумала, что в отличие от большинства людей, которым не нравятся больницы, меня они, напротив, бодрят. Каждый раз, покидая больницу, я чувствую себя здоровой как никогда – примерно то же ощущение я испытываю, выходя после окончания спектакля из театра: легкие наполняются свежим уличным воздухом, ноги шагают, можно разговаривать и вообще вернуться к обычной жизни – нормальной жизни, в которой люди не произносят слова, выделяя каждый слог, и не брызжут на тебя слюной.

Я с тревогой думала о том, как бы пребывание Жюли в психушке не принесло ей больше вреда, чем пользы: мне показалось, что она еще больше не в себе, чем была до того, как попала в клинику, особенно если вспомнить, что еще пару дней назад она заходила ко мне утром, свежая, как ополаскиватель для белья, с еще влажными волосами – она возвращалась из бассейна, где проплыла три километра с ластами, – чтобы сообщить, что записала нас с ней в группу волонтеров для участия в “библиотечном дне”.

– Что это хоть такое? – спросила я, одергивая пижаму; я еще не успела принять душ.

– Это очень просто. Мы обходим всех соседей и просим поделиться с нами книгами, которые затем отправим во Вьетнам, где их будут раздавать девочкам в школах.

– Что тебе все неймется? – вздохнула я и добавила, что, пожалуй, пойду еще немного поваляюсь.

Я потянулась закрыть дверь. “Вот и отлично! – крикнула она мне из холла. – Я уверена, нам понравится!” Она была в превосходном настроении.

Вот куда привел нас библиотечный день: на больничную койку. И теперь Жюли несла какой-то бред насчет положения женщины в новом тысячелетии. Все это свалилось на нас совершенно неожиданно, но у меня внезапно родилась одна идея.

В прошлом сентябре, после очередной кошмарной свадьбы – невеста обвинила меня в том, что я нарочно, с подлой целью разрушить ее брак, снимала ее исключительно в невыгодных ракурсах, – я записалась на участие в конкурсе, организованном в рамках фестиваля фотографии “Встречи в Арле”. По условиям конкурса, работы лауреата публично экспонируются в дни этого престижного фестиваля, а их автор получает денежное вознаграждение. Тема конкурса – “Женский портрет” – была приурочена к юбилею знаменитого английского фотографа Джулии Маргарет Камерон. Разумеется, следовало подойти к раскрытию темы творчески, взглянуть на нее под интересным углом, но до последнего времени я так и не нашла оригинального подхода, благодаря которому могла бы претендовать на победу в конкурсе. Между тем срок подачи работ истекал уже через две недели.

После разговора с Жюли у меня открылись глаза. Я назову свой проект “Идеальная женщина”. За отправную точку возьму историю Жюли, которую расскажу по-своему. Затем сделаю фотопортреты выдающихся женщин, героинь современной жизни, тех, на кого равняются окружающие. В этих портретах я попытаюсь показать образ женщины, какой она видится – и хочет, чтобы ее видели, – со стороны. Образ идеальной женщины. Но вместе с тем я постараюсь нащупать в ней слабину, обнаружить, в чем ее уязвимость. Я попробую отыскать в этом немыслимом стремлении к совершенству признаки безумия. Двух недель мне хватит – главное, определиться с темой, а остальное придет само. В первую очередь мне

требовалось найти модели. Не могла же я дать в газете объявление: “Требуется идеальная женщина для реализации фотопроекта”. Столкнувшись в подъезде с Тьерри, я спросила его, кого, по его мнению, его жена считает идеалом современной женщины.

– Жюли Андриё, – мгновенно ответил он. – Она на ней прямо помешана.

Тьерри объяснил, что имеет в виду ведущую телепрограммы, посвященной гастрономии. К сожалению, я сомневалась, что мне удастся пробиться к подобной знаменитости.

– Тогда позвони Мари Вагнер, – посоветовал Тьерри. – Она врач. Два года назад у нее умер муж, он был пастором. Жюли утверждает, что она “святая женщина”.

Мари

Моя первая фотовыставка состоялась в 1999 году, в холле субпрефектуры Антони. Я была участницей молодежной художественной мастерской департамента О-де-Сен, созданной под эгидой Иль-де-Франс.

В день открытия выставки мои родители обратились к Патрику Деведжану, который был тогда мэром Антони, с просьбой профинансировать их новую театральную антрепризу. Затем они торопливо обежали выставку и, направляясь к столу с напитками, сказали мне:

– Лучше бы фотографировала красивых девушек. Кому охота смотреть на твоих тунцов?

– Вот именно. Не думаешь ты о зрителях.

Следует уточнить, что речь шла о настоящих тунцах, в буквальном смысле слова. Спонсором нашей мастерской выступала дирекция оптового продовольственного рынка Ренжис, и наши работы должны были отражать тему мировой торговли. Я решила проследить “судьбу” обыкновенного тунца с того момента, как он попадает в рыбацкие сети, до того, как оказывается у нас на тарелке, и показать все промежуточные стадии: рыночную витрину, процесс разделки и приготовления рыбы и так далее. В отличие от родителей, сюжет по-настоящему меня увлек. Им бы, конечно, больше понравилось, если бы я снимала не мертвых рыбин, а своих школьных подружек – в одних трусах и с сигаретой в зубах, как на фотографиях Дэвида Гамильтона, – тогда, по их мнению, успешная карьера была бы мне обеспечена. Вообще иметь родителей-артистов – не самая большая в жизни удача, ведь чего нормальные мать с отцом желают своим детям? Солидного положения. По всей видимости, их речи перед моими фоторабо тами все-таки не прошли для меня бесследно, потому что пятнадцать лет спустя я сидела за рулем, полная решимости сделать несколько портретов идеальных женщин.

Когда едешь по автомагистрали “Океан”, названной, вероятно, в честь салата с лососем, пейзажи за окном меняются с головокружительной быстротой. Мари Вагнер согласилась принять меня в тот же день у себя дома, в Машкуле, департамент Атлантическая Луара. Разумеется, я предпочла бы, чтобы “святая женщина” жила поближе к Парижу, но выбирать не приходилось: время поджимало, а я серьезно настроилась выиграть конкурс и изменить свою жизнь.

Мари Вагнер было лет сорок пять. Тоненькая и маленькая, она производила впечатление невероятной хрупкости, как будто горстка былинок соединилась случайным образом, составив человеческое существо. Она жила в изящном доме, окруженном изящным садиком, и все у нее было изящным, включая улыбку, высокие скулы и ямочки на щеках. Она усадила меня в гостиной, напоила чаем, а потом долго показывала коврики, которые после смерти мужа выткала своими руками. Они были коричневые и волосатые и вызвали в моей памяти уроки биологии в школе, на которых мы вскрывали так называемые погадки – мохнатые комки, отрыгиваемые некоторыми хищными птицами и включающие в себя кости мелких змей, птенцов или грызунов. Я предложила Мари немного поговорить перед фотосессией, чтобы лучше познакомиться. Рассказала о себе, о своей работе и о том, как важно для меня участие в конкурсе.

– Фестиваль в Арле имеет мировое значение. Туда съезжаются галеристы, торговцы произведениями искусства, представители агентств. Они не только встречаются с известными фотографами, но и ищут новые таланты.

– Вам с сахаром? – безучастно спросила она, явно думая о своем.

За несколько часов до того, разговаривая с ней по телефону, я обратила внимание на то, как странно, неестественно спокойно звучал ее голос. Все время, пока мы говорили, это ощущение неестественности не оставляло меня: казалось, я оторвала ее от какого-то важного дела, но ей не хотелось дать мне это почувствовать. Сейчас я уловила в ней какую-то суетливую нервозность. Однако она сразу согласилась на встречу и даже настояла, чтобы я приехала к ней в тот же день. После первой чашки чаю она немного успокоилась.

Мари пустилась в подробный рассказ о своей жизни, отмеченной горестными событиями, в том числе смертью мужа, оставившего ее молодой вдовой. К счастью, ее безутешный разум занимали заботы о пациентах, о которых она отзывалась с гордостью и теплом. Поначалу я с искренним интересом слушала историю этой славной женщины, избравшей себе, как в прошлом веке, жизнь деревенского врача. Но вскоре, скажу честно, меня одолела жуткая скука. Она все говорила и говорила, а я поймала себя на том, что думаю о посторонних вещах – так бывает, когда читаешь книгу и вдруг замечаешь, что содержание последних двух-трех страниц полностью от тебя ускользнуло. Если Мари отвлекалась от рассказа о своих цветах, своих пациентах и своем сыне Андре, то излагала мне подробности жизненного пути покойного пастора Вагнера и вещала о детстве своего мужа, родителях своего мужа, призвании своего мужа, смелости своего мужа, проповедях своего мужа и болезни своего мужа. Примерно через час я уже с большим трудом, прибегая к более или менее удачным трюкам, сдерживала зевоту. Мне хотелось убраться отсюда как можно быстрее, сесть в машину, вернуться в Париж, выпить в баре какого-нибудь отеля джин-тоник, поесть устриц и заняться любовью.

Гостиная, в которой мы беседовали, показалась мне темноватой для съемки, а главное – слишком мрачной. Но через окно я видела большой сад, и эта картина внушала мне оптимизм: маленькая милая женщина посреди столетних деревьев словно Ева до грехопадения. Чтобы фотография вышла интересной, надо добиться от модели чего-то такого, чем она не готова с тобой делиться: или потому, что не понимает, чего ты от нее хочешь, или потому, что не желает исполнять твою просьбу. Тогда в кадре возникает напряжение, внутренний нерв, благодаря которому твоя работа притягивает к себе взор зрителя. Пока что Мари ничем не собиралась со мной делиться; судя по всему, она вообще забыла, зачем мы встретились, и, прервав ее монотонное повествование о похоронах пастора Вагнера, я спросила:

– Может, выйдем в сад и попробуем начать?

Мари отказалась – ее смутил мой вопрос. Я попыталась ее переубедить и спокойно напомнила о цели своего визита: я приехала сюда не для того, чтобы обсуждать достоинства покойного пастора Вагнера и лакомиться домашним кексом, а для того, чтобы получить пропуск в Арль. Я работаю над проектом, смысл которого вижу в создании образа женщины в представлении самих женщин. После каждой встречи моя героиня называет мне имя другой женщины, вызывающей ее восхищение, и я еду к ней, чтобы сделать ее портрет. В результате в цикле фотографий под общим названием “Идеальная женщина” перед зрителем предстанет целый хоровод женщин, выбранных в какой-то степени случайно, но тем не менее отражающих идею современного женского совершенства.

– Про вас мне сказала Жюли. Она вами восхищается, – добавила я, решив, что не помешает слегка ей польстить. – По-моему, вы для нее образец для подражания.

Мари бросила на меня растерянный взгляд. Брови у нее сошлись домиком, демонстрируя замешательство.

– Фотографировать надо было моего мужа, а не меня. Вот кто был этого достоин.

– Простите, пожалуйста, – не сдержалась я, – но поймите и меня: не зря же я к вам ехала!

– Мне очень жаль, – решительно ответила она.

– Жюли говорила, что вы святая.

– Что-что? – Мари втянула голову в шею.

Она вытаращила глаза и покраснела, как будто кровь бросилась ей в лицо. Она содрогнулась всем своим хрупким тельцем, словно пронзенная невидимой молнией, и в воздухе отчетливо повеяло статическим электричеством.

– Я не святая, – торжественно заявила она.

– Да я просто так сказала.

– Я – сатана, – решительно добавила она.

Этого я от нее точно не ожидала. Еще больше я поразилась, когда у нее налились кровью глаза.

– Я – сатана, – еще громче произнесла она.

– Да-да-да, я прекрасно вас поняла, не нужно кричать! – проговорила я. – Вы неважно себя чувствуете, верно? Пожалуй, мне лучше уйти, чтобы вы могли отдохнуть…

– Нет! Останьтесь! Я должна вам кое-что показать!

Ее взгляд изменился: зрачки расширились, как будто она нюхнула чего-то нехорошего – если только ею и правда не завладел злой дух.

– Пойдемте со мной. Кто-то должен наконец об этом узнать.

С этими словами Мари взяла меня за руку. Ощутив прикосновение ее ледяных пальцев, я вздрогнула и с запозданием подумала, что не предупредила сына, куда еду: а вдруг эта тетка заманит меня в подвал, заставит наряжаться в одежду покойного мужа и продержит взаперти долгие годы? И никто даже не догадается, куда я пропала.

Мари повела меня на второй этаж. Шагая по лестнице, я не смела поднять глаза на стены, плотно увешанные почерневшими от времени фотографиями в овальных рамках, откуда на меня глядели чьи-то устрашающего вида предки. Вдова провела меня коридором, остановилась возле двери своей спальни и бесшумно повернула ручку. Комната была погружена в сумрак, окна плотно зашторены, хотя уже близился вечер. Несмотря на полутьму, я разглядела большую кровать с распятием над ней; на кровати, широко раскинувшись, спал голый парень. Его тело белело в окружении старой мебели, как светлячок в ночи.

Мари пытливо смотрела на меня, явно ожидая, что я что-то скажу или еще как-то отреагирую на увиденное. Но я не знала, что сказать, плохо понимая, что мне показывают.

– Это ваш сын? – спросила я, не испытывая ни малейшего желания услышать ответ; каким бы он ни был – положительным или отрицательным, неловкости было не избежать.

– Конечно нет! – воскликнула Мари. – Я что, сплю с собственным сыном?

– О! Извините, – пробормотала я, удивленная ее новым тоном.

Мари схватила меня за локоть и провела в смежную комнату, которую закрыла на ключ. Там она бросилась на диван и зарылась лицом в согнутую руку, ни дать ни взять героиня Достоевского. В этой позе она показалась мне до нелепости маленькой, еще меньше, чем была на самом деле. Я растерялась. Если вам плохо, обращайтесь к кому-нибудь вроде Жюли – такие женщины, как она, знают, чем вас успокоить, у них всегда наготове набор подходящих фраз. Я для этого не гожусь. Когда люди делятся со мной своими проблемами, я огорчаюсь вместе с ними, но искренне не понимаю, почему они рассчитывают на мою изобретательность и надеются, что я лучше них разберусь в их жизни.

Поэтому я просто стояла и молча смотрела на рыдающую на диване Мари. Через некоторое время источник влаги в ней иссяк, она перестала всхлипывать, приподнялась с уже сухими глазами и похлопала своей маленькой ручкой по дивану, приглашая меня присесть рядом. Вблизи я увидела, что лицо у нее не помятое, глаза не покраснели, и по ее чертам невозможно было догадаться, что с ней только что случилась истерика. Меня это поразило. С невероятным спокойствием Мари объяснила, что пригласила меня с вполне определенной целью, и эта цель не имеет ничего общего с фотографией. На самом деле она восприняла мой звонок как знак Божий.

– Прошу прощения?

– Да. Когда вы позвонили, я молилась.

– И?..

– Я просила Господа послать мне исповедника, потому что мне нужно сказать кому-то правду.

Этим “кем-то” и стала я. Я поняла, что мне придется ее выслушать, не забывая о том, что часы тикают, а мне еще надо ее сфотографировать.

В прошлом месяце, рассказала Мари, ей позвонили из булочной Куэрона и попросили срочно приехать. Владелица булочной тревожилась за старика-пенсионера, которого опекала; он уже несколько дней мучился жестоким бронхитом. Из-за сырой и холодной погоды состояние больного ухудшилось, и он уже начинал задыхаться.

Куэрон, уточнила Мари, находится меньше чем в часе езды от Машкуля, но дорога заиндевела, и вести машину приходилось медленно, потому что было очень скользко.

– Доктор пришел! – крикнула булочница – старик был глуховат.

На кровати лежал долговязый старик, похожий на палочника – насекомое-привидение, известное также как “страшилка”: с виду оно напоминает древесный сучок или лист, на котором обычно и сидит. Кожа у старика, хрупкая, как старое кружево, почти сливалась по цвету с простынями. Мари присела на краешек кровати, чтобы послушать ему легкие; от прикосновения холодного металла стетоскопа больной вздрогнул. Судя по шумам в легких, у него была жестокая пневмония. Мари позвонила в больницу Машкуля и вызвала к пациенту “скорую”. Когда она положила трубку, к ней с таинственным видом повернулась булочница – пышная блондинка с нежным пушком на лице.

– Мне надо еще кое-что вам показать, – сказала она. – Пойдемте со мной.

Они прошли через заброшенный сад, в глубине которого находился бывший свинарник, переоборудованный в хижину. Булочница без стука толкнула дверь.

– По-моему, это кто-то из его родни, – сказала она и довольно бесцеремонно добавила: – А там кто его знает…

Мари ничего не понимала: ее глаза еще не привыкли к темноте, чтобы рассмотреть помещение изнутри.

– Надо что-то с этим делать, пока старик в больнице! – посетовала булочница.

Только тогда Мари заметила существо, сидящее на полу возле кровати. Голову существа украшала лохматая грива длинных светлых волос, так что это мог быть и парень и девушка. Или вообще не человек.

– Он слепой, – пояснила булочница.

– Он живет здесь, с месье Ле Гоффом?

– Да.

– Это его сын?

– Да что вы? У месье Ле Гоффа отродясь не было ни жены, ни детей. Он никого не любит.

Мари присела на корточки перед неподвижной фигурой возле кровати.

– Хотите с ним поговорить? Зря стараетесь! – воскликнула булочница. – Он никогда не отвечает.

И правда, существо как было, так и оставалось неподвижным.

– С самого утра так сидит, – вздохнула булочница. – Прям как побитая собака.

– Сколько тебе лет? – обратилась Мари к скрюченному существу.

– Неизвестно, – вместо него ответила булочница. – Может, пятнадцать, а может, и все восемнадцать.

– А у месье Ле Гоффа нельзя разузнать?

– Да я его сколько раз спрашивала, дескать, что за парнишка у вас живет. Но он ни гугу.

– Как тебя зовут? – продолжала выпытывать Мари у лохматого создания.

– Говорю вам, зря стараетесь. Он ничего не видит. И не разговаривает. По-моему, он глухой. Как и старик.

– Ты меня слышишь? – не отступалась Мари.

– Да он, видать, умственно отсталый, – бросила булочница. Похоже, ее раздражало, что Мари тратит время, задавая бессмысленные, с ее точки зрения, вопросы.

“Мне было неловко, – сказала Мари. – Булочница говорила о нем так, словно его тут не было. Не знаю, замечали вы раньше или нет, но люди часто позволяют себе подобное в присутствии стариков, маленьких детей и больных”.

– Что вы намерены с ним делать? – спросила Мари.

– Я? – удивилась булочница. – Ничего! – Она рассмеялась, настолько нелепым показался ей вопрос.

– Но ведь нельзя оставлять его одного! А в больницу его не возьмут.

– Так что вы от меня-то хотите? У меня с собаками забот хватает!

Мари не могла сердиться на эту славную женщину, которая добровольно опекала глухого старика. “Поль, то есть мой покойный муж, пастор Вагнер, – прошептала она, – часто повторял, что нельзя требовать от человека больше, чем он в состоянии дать. Не каждый из нас достаточно вооружен, чтобы противостоять невзгодам, и не каждый наделен равным даром любви к ближнему. Дар есть дар, и не важно, мал он или велик. Его суть не в показной, а в искренней заботе о других”.

Мари попросила булочницу сходить в комнату старика за ее медицинским саквояжем – она хотела осмотреть парнишку. В ожидании ее возвращения она вышла в запущенный садик; то воскресное утро выдалось морозным, и холод проникал до костей, в губы при каждом вдохе впивались тысячи ледяных иголок. Но ее грудь полнилась добротой, навеянной природой, а сердце билось так сильно, что вздрагивали отвороты пальто. Стоя в этом безлюдном месте, она думала о том, что сейчас на нее смотрят Господь и покойный муж. Мари вернулась в хижину, внимательно осмотрела и послушала юношу – состояние его здоровья не внушало никаких опасений: лимфатические узлы не увеличены, ни намека на опухоли, легкие и кишечник в норме. Она звякнула стетоскопом возле уха пациента и поняла, что он вовсе не глухой. Под коркой грязи угадывалась белая, цвета слоновой кости, кожа. Глядя на развитую мускулатуру слепого, Мари решила, что ему лет восемнадцать.

Она села в машину и выехала на шоссе, ведущее из Куэрона, чтобы дождаться “скорую” и проводить ее прямо к дому; без ее помощи медики могли еще долго проплутать, а старику требовалась срочная госпитализация – дыхание у него становилось все более затрудненным.

Булочница и слепой юноша молча сидели у постели больного. Мари вгляделась в его бледное, словно выцветшее лицо, наводившее на мысль о выгоревшей на солнце книжной обложке, и обнаружила на нем явственные признаки близкой кончины. Булочница надела ярко-оранжевое шерстяное пальто, перетянутое в талии кожаным поясом; она держала перед собой раскрытые ладони, словно читала невидимую Библию. На слепого падала ее тень; в слабом свете ночника его лицо выступало белым пятном с размытыми чертами. Весь дом был погружен в какую-то первозданную тишину, будто замкнулся в собственном благочестии, и Мари осмелела. Открывшаяся взору картина живого человеческого участия наполнила ее сердце извечным немым восторгом, и она решила, что на несколько дней заберет юношу к себе, чтобы скрасить его мучительное существование хотя бы малой долей радости. Потом, как ягненка со сломанной ножкой, она вернет его назад в стадо, убедившись, что косточки срослись и он может передвигаться самостоятельно.

“Скорая” уехала. Молодой человек безропотно позволил отвести себя к машине. Мари попрощалась с булочницей; та смотрела, как они ковыляют к автомобилю, с несомненным чувством облегчения: с нее сняли груз ответственности за это странное существо.

Обратный путь занял много времени, потому что по дороге перед ними еле тащился трактор. Мари не давала покоя одна мысль: как это возможно, что в двадцать первом веке еще находятся такие вот дети-маугли, напрочь отрезанные от системы школьного образования. Как вышло, что этот юноша дожил до восемнадцати лет и никто, ни один человек не озаботился его судьбой?

Домой она добралась незадолго до полуночи.

– Он псих? – спросил у нее Андре, ее сын.

– Нет, – ответила она. – Я же тебе сказала, он слепой.

– Он что, будет жить у нас? – не скрывая отвращения, поинтересовался сын.

Мари с огорчением отметила, что сыну не хватает широты души, а потому благородным порывам просто негде расправить крылья.

– Мама! Но ведь тебе скажут, что ты его просто похитила! – защищаясь, воскликнул Андре.

– Завтра я схожу в мэрию, узнаю, что можно для него сделать, – ответила она.

– А пока, – добавил Андре, – давай придадим ему человеческий облик. А то его никто не захочет взять.

В этом ее сын был абсолютно прав. Слепой призрак, которого пока оставили сидеть на кухне, был чудовищно грязен, и Андре пришлось его вымыть. По окончании процедуры на кухню вышел нищий из рассказов Диккенса – в старых полотняных рыбацких штанах на голое тело, свисавших в промежности.

– Я назвал его Жерменом.

– Хорошее имя, – одобрила Мари. – Скажем, что он наш дальний родственник.

Постепенно сын, на которого свалилась роль опекуна и даже крестного – ведь это он первым погрузил его в купель, – изменил свое отношение к слепому парню. Нашла удовлетворение его неутолимая жажда командовать. Отныне он видел себя не послушным мальчиком, согласившимся принять под свой кров чужака, а гостеприимным хозяином дома.

– Давай обреем его наголо. Он весь вшивый, – с неприязнью сказал Андре, издав на слове “вшивый” презрительное шипенье.

Жермен, безучастный, как римская статуя, стоял посреди ванной на подстеленной газете, а Андре срезал у него с головы длинные белокурые пряди. На лице слепого не дрогнул ни один мускул, его незрячие глаза казались нарисованными в глубоких глазницах. Газета под ним промокла, и запах сырой типографской краски смешивался с запахом мыла; от ванны, для которой не пожалели воды, исходил аромат чистоты и влажной древесины.

Вид усеявших пол желтоватых кудрей, похожих на маленькие трупики, напугал Мари. Когда оголился бугристый череп Жермена, ей на память пришли образы женщин, которых после Освобождения брили наголо, возлагая на них вину за прегрешения всего народа. Ей было не по себе; она не могла заставить себя взглянуть в лицо Жермену. Ей казалось, что сын нарочно обезобразил юношу, чтобы его унизить. Утешало ее одно: несчастный слепец не мог видеть, что над ним сотворили.

В последующие дни Мари делала все от нее зависящее, чтобы вырвать молодого человека из плена немоты и мрака. Очень скоро она убедилась, что слепой не только не был глухим, но и владел речью. Мари сердцем чувствовала, что перед ней открывается путь благодати, на котором она сможет узреть внутренний свет в душе этого странного человека, не похожего на остальных. Она понимала, что ей поручена трудная, но невероятно важная миссия. Смутившись, она добавила, что воспринимала ее как приобщение к высшему знанию.

На этом она замолчала.

Мы по-прежнему сидели у нее в кабинете, возле единственного окна, за которым плыли закрывшие солнце тяжелые серые тучи, и внезапная смена освещения мгновенно вернула меня в настоящее, в этот маленький аккуратный кабинет, в этот слишком большой дом, окруженный слишком ухоженным садом. Рассказ Мари унес меня так далеко в прошлое, в такие далекие отсюда края, что я забыла, зачем приехала, забыла про Арль и конкурс фотопортрета, забыла про лежащую в больнице Жюли, забыла даже, что Жермен, тот самый юноша, о котором она говорила, находится рядом, в соседней комнате.

Но история Мари на этом не закончилась. Она ерзала на диване и смотрела на свои пальцы, явно труся и ожидая, что я подтолкну ее к дальнейшим откровениям. К счастью, я поняла, что продолжить повествование ей мешает застенчивость. Но я и не нуждалась в ее словах, чтобы сообразить, что произошло между ней и Жерменом – я же видела, что он лежит в постели голый. И мне не составило труда представить себе, как и почему ситуация вышла из-под ее контроля.

Запинаясь, словно каждый произнесенный звук жег ей язык, Мари призналась, что вступила с юношей в определенные отношения. Тот факт, что Жермен не мог ее видеть, освобождал ее от чувства вины и избавлял от стыда, прежде неразрывно связанного в ее сознании с сексом. Она открыла для себя физическое наслаждение и потеряла покой; ее ненасытность не давала парню передышки. Благодаря его слепоте, объяснила мне Мари, она смогла полностью отдаться ему и испытала удовольствие, какого не ведала прежде. Но это удовольствие словно пробило брешь, в которую хлынули и другие низменные чувства. В душе Мари впервые в жизни вспыхнула болезненная ревность к сыну; она теперь его не выносила. Ее бесили невинные игры, которые тот затевал с Жерменом; инстинкт собственницы заставлял ее видеть в них нечто порочное.

– Да уж, святости во всем этом мало, – согласилась я.

Мы довольно долго сидели молча. Наконец сквозь тучи снова проглянуло солнце, а я окончательно поставила крест на идее фотопортрета и несолоно хлебавши поехала назад в Париж.

Ализе

На обратном пути я думала о том, что, провалив свое задание, получила зато потрясающий сюжет. Вдова пастора совратила несовершеннолетнего слепого парнишку, не подозревая, что ее сын тоже с ним спит. Потрясающий материал. К сожалению, я вовремя вспомнила, что на эту тему уже писал Андре Жид. Ну разве не обидно? Мы, художники двадцать первого века, вынуждены заниматься переработкой вторсырья, существовать в пространстве постоянного цитирования, творить с ухмылкой и культивировать иронию во всех областях искусства. Но, поскольку беда не приходит одна, мои печальные размышления прервал голос радиоведущего, сообщивший, что на въезде в Париж скопилась многокилометровая пробка. Я решила остановиться на ближайшей заправке и залить полный бак.

Заправка в Прюйе-ле-Шетиф представляла собой обширное “дизайнерское” сооружение овальной формы, сверху донизу обшитое светлым деревом, и напоминала гигантскую шведскую ванну, поставленную посреди пустыря; автомобилистам, утомленным однообразием дорожного пейзажа, она дарила оазис архитектурного модерна. Здание было таким новеньким и так сияло чистотой, что произвело на меня впечатление не меньшее, чем Нью-Йоркский музей современного искусства; я порадовалась, что вовремя сообразила запастись бензином и поесть мини-сосисок.

Возле полок с сухими закусками передо мной прохаживалась юная девушка в светло-серых спортивных штанах и куртке с опущенным на голову капюшоном. Она пыталась стащить пакет чипсов “Принглс” со вкусом барбекю, сунув его в карман, но делала это так неумело, что мне захотелось схватить ее за руку; я понимала, что, когда на кассе ее разоблачат, мало ей не покажется. Но потом я плюнула – в конце концов, это не моя дочь. Хотя по возрасту вполне могла бы ею быть, и я задумалась, что же у нее за родители, если позволяют девчонке ошиваться в такой поздний час на придорожной автозаправке. Я отдавала себе отчет в том, что никогда не была образцовой матерью, мало того, прикладывала массу усилий, чтобы ею не стать. В то же время – поклясться готова – я постаралась воспитать своего сына Сильвена как можно лучше, стремясь, чтобы он как можно раньше перестал во мне нуждаться. По-моему, я оказала ему большую услугу; я согласилась терпеть на себе осуждающие взгляды окружающих, убежденных, что порядочная мать так себя не ведет, но воздвигла – из чисто гигиенических соображений – между ним и собой некоторый санитарный барьер; мне с детства казалась отвратительной мысль о том, что все мы появились на свет из материнской утробы. Мой сын вырос человеком вполне счастливым и уравновешенным, и не в последнюю очередь благодаря тому, что я всегда держала между нами определенную дистанцию. Я не пыталась превратить его в свою игрушку, или страховку, или спасательный круг. Я вообще не пыталась превращать его во что бы то ни было. Он просто существует. Сам по себе. Это, кстати, не каждому дано. Он живет своей жизнью, не чувствуя себя обязанным передо мной отчитываться. Он не знает и никогда не узнает, на какие жертвы я шла на протяжении долгих лет, заталкивая в самые глухие закоулки собственной души чувство, что он нужен мне больше всего на свете.

Через десять минут я без особого удивления обнаружила юную воровку чипсов на выезде с парковки. В руках она держала табличку с надписью “Париж”, а мыском левой ноги подкидывала скейтборд, заставляя его выписывать замысловатые петли. Мне категорически не нравилось, что девчонка бродит здесь одна на ночь глядя, и, проезжая мимо, я притормозила, открыла окно и пригласила ее сесть в машину.

– Повезло тебе, что попала на меня, – сказала я юной автостопщице, пока та пристегивалась.

– Да, – с приличествующей случаю улыбкой ответила она.

– Хотя, – добавила я, вспомнив Мари Вагнер, – в наше время и приличным на вид теткам доверять нельзя.

– Я знаю, – сухо согласилась она.

Ее звали Ализе, она утверждала, что ей восемнадцать лет. На самом деле она выглядела и старше, и моложе восемнадцати, так что это вранье, в общем-то, не имело значения. Она поставила свой скейт на заднее сиденье и рукой откинула с головы капюшон. У нее был чистый лоб и острое птичье личико; в жестких черных волосах белела светлая прядь, наводя на мысль о сорочьем оперении; на запястье она носила блестящий позолоченный браслет с выложенной стразами буквой "А". Я спросила, зачем она едет в Париж и почему одна.

Ализе объяснила – вернее, не объяснила, а лаконично сообщила, – что переночует у подружек, а утром они всей компанией отправятся в Анси на соревнования по скейтборду. И не на какие-нибудь там ерундовые. На чемпионат Франции.

– А я и не знала, что во Франции проводится чемпионат по скейтборду, – заметила я.

– Чемпионат по скейтбордингу, – уточнила она. – Не по скейтборду, а по скейтбордингу.

– Да? Тоже не знала, – сказала я, стараясь казаться приветливой, хотя мне было глубоко плевать и на скейтборд, и на чемпионат, и на его правильное название.

Ализе сидела, засунув кулачки в карманы своей спортивной куртки, напоминая одну из моделей Ларри Кларка.

– Это такой потрясающий фотограф, – непринужденно пояснила я. – Он много снимал маргинальных подростков, в том числе скейтбордистов. Тебе обязательно надо посмотреть.

Ализе подняла брови с таким видом, будто ничего оскорбительнее никогда не слыхала.

– Я про него с пятого класса знаю, – буркнула она.

– Да? Хорошо, – пробормотала я, пытаясь сохранить остатки достоинства.

– Летом он проводил кастинг для нового фильма. Но мы с девчонками решили не участвовать.

– Почему же? – удивилась я.

– Старье…

Ализе рассказала, что он подкатывался к одному ее приятелю, и уточнила – на случай, если я не поняла, – что он предлагал ему такие вещи, которые находятся "реально за гранью". Я сосредоточилась на дороге, слегка ошалевшая от нового поворота, который приняла наша беседа: мысль о том, что Ларри Кларк может быть старым сатиром, лишила меня дара речи. Одновременно она мне, как это ни странно, понравилась. Я испытала давно забытое чувство, в котором смешались обида и тайный восторг; оно посещало меня в ранней юности, когда другие люди издевались над моими вкусами, высмеивая моих кумиров. Это ранило мою гордость и унижало меня, но, захватывая врасплох, освобождало от рабского поклонения.

– Ты рада, что поедешь на этот чемпионат? – спросила я.

Ализе была очень рада. Но на свете бывают девушки, по которым ни за что не догадаешься, что они чему-то радуются, и Ализе относилась к их числу. Правда, она все же снизошла до кратких объяснений о принципах организации "чемпионата по скейтбордингу". Я узнала, что в этом виде спорта существует три разновидности и, соответственно, три вида соревнований: стрит, рампа и боул, примерно как в горных лыжах скоростной спуск, супергигант и слалом. Ализе входила в группу энтузиасток, продвигавших женский скейтбординг; вместе с подругами она участвовала в работе специальной комиссии и занималась организацией состязаний среди лучших в стране женщин-скейтеров.

Она искренне гордилась своими достижениями, но ее словарного запаса было, увы, недостаточно, чтобы выразить всю полноту обуревавших ее чувств. Я догадывалась, что она испытывает и предстартовое возбуждение, и страх проиграть или получить серьезную травму, и беспокойство – вдруг родители, уверенные, что она проводит выходные у одноклассницы, узнают, куда и зачем она отправилась на самом деле. Обо всем этом Ализе рас-

сказывала скупыми рублеными фразами, используя самые примитивные грамматические конструкции и самые простые выражения.

– Ну хорошо, а что ты собираешься делать дальше? – задала я ей неожиданный вопрос.

– Хочу стать тренером… Может, открыть свою школу.

– А что, уже существуют школы скейтборда? – удивилась я.

– Надо говорить “школы скейтбординга”, – снова поправила она меня.

Честно говоря, мне слабо верилось, что скейтбординг может стать популярным видом спорта, но Ализе объяснила мне, что я заблуждаюсь: в Бордо при одной средней школе уже открыли соответствующую спортивную секцию, первую во Франции. Потом будущая чемпионка испустила тяжкий вздох, видимо понимая, какую трудную задачу ей предстоит решать, и вдруг переключила внимание на меня, своего скромного водителя:

– А вы кем работаете?

– Я фотограф.

– Вы не похожи на фотографа. – С этими словами она недоверчиво отодвинулась от меня поближе к окну.

– Да ну? – изумилась я. – А как, по-твоему, должны выглядеть фотографы?

– Ну, не знаю… Но как-то не так.

– Ладно. Если надумаешь, скажешь. А я пока музыку включу.

Я нажала на кнопку авторадио. Должна признаться, что девица начала меня раздражать. Она не отдавала себе отчета в том, что благодаря мне, моей доброте и отзывчивости, избежала опасности и не попалась в лапы какому-нибудь психу или насильнику, а то и доброй самаритянке наподобие Мари, которая под видом заботы о молодежи занимается ее растлением. Разве я многого требовала – легкой болтовни и капельки уважения, вот и все. Она считала Ларри Кларка старым развратником. Со своей стороны я, способная проспрягать любой самый трудный глагол, до сих пор вела себя более чем приветливо и приложила массу усилий, вникая в ее рассуждения о скейтерах, но теперь просто вела машину и слушала джаз. И пусть юная Ализе морщится сколько угодно – казалось, у нее от звуков этой музыки кровоточили барабанные перепонки, – мне было на нее наплевать.

– А вы, это, знаменитость? А то я про вас никогда не слышала, – с подозрительностью в голосе спросила она.

Я сделала глубокий вдох. И очень спокойно объяснила, что большие художники при жизни часто остаются неизвестными, поэтому наша самая большая проблема заключается в том, чтобы понять: о нас не знают потому, что мы ничего собой не представляем, или потому, что нас не понимают.

– Ты когда-нибудь слышала про Ван Гога? – немного агрессивно спросила я, надеясь ее уколоть.

– Угу. Я видела с училкой французского. Мне понравилось.

– А что ты видела?

– Я? Кино.

Ализе смотрела прямо перед собой. Мне подумалось, что она и по жизни готова двигаться точно так же, не заглядывая далеко вперед и довольствуясь огрызком шоссе, освещенным фарами. Меня охватило желание придушить соплячку и выкинуть на дорогу вместе с ее скейтбордом – пусть ждет, пока ее не подберет очередная вдова пастора.

– Видишь ли, – вместо этого сказала я, – иногда проходят годы, прежде чем современники поймут смысл твоей работы. Если это случится со мной, то я, возможно, умру накануне признания, как, например, Стиг Ларссон. – Это была моя последняя попытка нащупать в ее культурном кругозоре хоть что-то, способное вызвать отклик.

В больших равнодушных глазах Ализе наконец вспыхнул огонек интереса. А у меня вдруг сдавило горло, как будто то, о чем я только что говорила, и правда могло произойти.

Мне уже виделись мои биографы, рассуждающие о том, что болезнь, которая свела меня в могилу, связана с моим неприятием успеха и нежеланием выставляться и все дело в психосоматической блокировке: если я слишком долго ждала признания, то лишь потому, что подсознательно желала не победы, а поражения и предпочитала жить не на свету, а в тени. Какой-нибудь психоаналитик опишет мой случай и откроет “комплекс чемодана”, из-за которого ребенок, подвергавшийся эксплуатации со стороны жаждущих славы родителей, повзрослев, запрещает себе стремиться к известности.

– Сегодня некоторых художников почитают чуть ли не как богов, хотя при жизни их никто не воспринимал всерьез! Они могли подыхать с голоду, и никому не было до этого дела! – пылко произнесла я. – Все эти критики, эксперты и прочие лицемеры готовы дрочить на призраков, а на живых чихать они хотели!

Последние слова я почти выкрикнула, отчего мы обе вздрогнули.

– Самым значительным событием моей молодости было знакомство с Франческой Вудмен, – сказала я Ализе. – Ты знаешь, кто она такая?

– Нет.

– Ясное дело.

Ализе вжалась в сиденье и натянула на голову капюшон, а я начала свой рассказ.

Франческа

Мне было пятнадцать лет, когда я познакомилась с Льюисом – американским музыкантом, приехавшим в Тур, чтобы совершить нечто вроде паломничества: его двоюродный дед в конце Второй мировой войны участвовал в освобождении города от нацистов. Мы встретились в ирландском пабе, расположенном в пешеходной зоне в центре; он объяснял бармену, как изобразить на пене “Гиннесса” трилистник. У Льюиса были черные глаза, его плохо выбритые щеки отливали синевой, он носил фетровую шляпу и джинсовую рубашку, от которой сильно пахло ночами, проведенными не в своей постели. Разумеется, он был значительно старше меня, но мне в ту пору нравились зрелые мужчины.

Как и многие американцы, он был начисто лишен так называемой общей культуры, зато обладал поистине энциклопедическими познаниями в одной-единственной области, благодаря чему мог часами распространяться на свою излюбленную тему, не давая никому вставить ни слова. Коньком Льюиса было Сопротивление в Турени, и он оседлал его так основательно, что я уже и не помню, каким чудом мы заговорили о Франческе; видимо, существовала какая-то связь между историей Тура и молодой американкой-фотографом; у некоторых людей есть необъяснимый дар наводить мосты между абсолютно разными сюжетами, и Льюис принадлежал к их числу: он с такой легкостью перескакивал с предмета на предмет, что никто из участников беседы даже не замечал, когда она сворачивала в сторону. О Франческе он упомянул как о близкой подруге. В тот миг, когда он произнес ее имя – Франческа Вудмен, – я испытала странное чувство: мне показалось, что оно всплывает откуда-то из глубин моей памяти. Льюис хорошо знал старшего брата Франчески Чарли, с которым познакомился в Нью-Йорке в начале восьмидесятых. Брат и сестра Вудмены были очень дружны. Их отец Джордж, живописец, увлекался и фотографией. Мать, Бетти, была керамисткой. Таким образом, Франческа Вудмен росла в семье художников, иначе говоря, с детства привыкла наблюдать за тем, что родители вроде бы постоянно развлекаются. Как и я, она была вынуждена терпеть родительские причуды. Очень рано Франческа и сама начала фотографировать – первое время подражала отцу, а потом уже не могла остановиться; она постоянно снимала собственное тело, фиксируя признаки его взросления.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.